ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

# ЕДИНСТВО

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

*Единство*

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

# ЕДИНСТВО

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

«Русская Книга». Нью-Йорк, 1967

Обложка работы Николая Сафонова



Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München-Allach, Peter-Müller-Str. 43.

Printed in Germany

Стихам своим я знаю цену.
Мне жаль их, только и всего.
Но ощущаю как измену
Иных поэзий торжество.

Сквозь отступленья, повторенья,
Без красок и почти без слов,
Одно, единое виденье,
Как месяц из-за облаков,

То промелькнет, то исчезает,
То затуманится слегка,
И тихим светом озаряет,
И непреложно примиряет
С беспомощностью языка.

Тихим, темным, бесконечно-звездным,
Нет ему ни имени, ни слов,
Голосом небесным и морозным
Из-за бесконечных облаков,
Из-за бесконечного эфира,
Из-за всех созвездий и орбит,
Легким голосом иного мира
Смерть со мной все время говорит.

Я живу, как все: пишу, читаю,
Соблюдаю суету сует . . .
Но, прислушиваясь, умираю
Голосу любимому в ответ.

Ни с кем не говори. Не пей вина.
Оставь свой дом. Оставь жену и брата.
Оставь людей. Твоя душа должна
Почувствовать — к былому нет возврата.

Былое надо разлюбить. Потом
Настанет время разлюбить природу,
И быть все безразличней, — день за днем,
Неделю за неделей, год от году.

И медленно умрут твои мечты.
И будет тьма кругом. И в жизни новой
Отчетливо тогда увидишь ты
Крест деревянный и венок терновый.

Ты здесь, опять . . . Неверная, что надо
Тебе от человека в забытьи?
Скажи на милость, велика отрада —
Улыбки, взгляды, шалости твои!

О, как давно тебе я знаю цену,
Повадки знаю и притворный пыл.
Я не простил . . . скорей забыл измену,
Да и ночные россказни забыл.

Что пять минут отравленного счастья?
Что сладости в лирическом чаду?
Иной, иной «с восторгом сладострастья»
Я тридцать лет тебя напрасно жду.

Пройдемся, что ж . . . То плача, то играя,
То будто отрываясь от земли,
Чтоб с берегов искусственного рая
Вернуться нищими, как и пришли.

И мы выходим . . . Небо? Небо то же.
Снег, рестораны, фонари, дома.
Как холодно и тихо. Как похоже . . .
Нет, я не брежу, не схожу с ума,

Нет, я не обольщаюсь: нет измены.
Чуть кружится как прежде голова,
С каким-то невским ветерком от Сены
Летят как встарь послушные слова,

День настает почти нездешне яркий,
Расходится предутренняя мгла,
Взвивается над Елисейской аркой
Адмиралтейства вечная игла,

И в высоте немыслимо морозной,
В сияющей, слепящей вышине
Лик неизменный, милосердный, грозный,
В младенчестве склонявшийся ко мне!

. . . . . . . . . .

Спасибо, друг. Не оставляй так скоро,
А малодушие ты мне прости.
Не мало человек болтает вздора,
Как говорят, «на жизненном пути».

Не забывай. Случайно, мимоходом,
На огонек, — скажи, придешь?

Без отдыха дни и недели,
Недели и дни без труда.
На синее небо глядели,
Влюблялись . . . И то не всегда.

И только. Но брезжил над нами
Какой-то божественный свет,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет.

По широким мостам . . . Но ведь мы все равно не успеем,
Этот ветер мешает, ведь мы заблудились в пути,
По безлюдным мостам, по широким и черным аллеям
Добежать хоть к рассвету, и остановить, и спасти.

Просыпаясь дымит и вздыхает тревожно столица.
Окна призрачно светятся. Стынет дыханье в груди.
Отчего мне так страшно? Иль может быть все это снит-
ся,
Ничего нет в прошедшем и нет ничего впереди?

Море близко. Светает. Шаги уже меряют где-то.
Будто скошены ноги, я больше бежать не могу.
О, еще б хоть минуту! Но щелкнул курок пистолета.
Не могу . . . все потеряно . . . Темная кровь на снегу.

Тишина, тишина. Поднимается солнце. Ни слова.
Тридцать градусов холода. Тускло сияет гранит.
И под черным вуалем у гроба стоит Гончарова,
Улыбается жалко и вдаль равнодушно глядит.

«. . . может быть залог».

Пушкин.

«О, если правда, что в ночи . . .»
Не правда. Не читай, не надо.
Все лучше: жалобы твои,
Слез ежедневные ручьи,
Чем эта лживая услада.

Но если . . . о, тогда молчи!
Еще не время, рано, рано.
Как голос из-за океана,
Как зов, как молния в ночи,
Как в подземельи свет свечи,
Как избавление от бреда,
Как исцеленье . . . видит Бог,
Он сам всего сказать не мог,
Он сам в сомненьях изнемог . . .
Тогда бессмер . . . молчи! . . победа,
Ну, как там у него? «залог».

За слово, что помнил когда-то
И после навеки забыл,
За все, что в сгораньях заката
Искал ты, и не находил,

И за безысходность мечтанья,
И холод растущий в груди,
И медленное умиранье
Без всяких надежд впереди,

За белое имя спасенья,
За темное имя любви
Прощаются все прегрешенья
И все преступленья твои.

«О, если где-нибудь, в струящемся эфире,
В надзвездной вышине,
В непостижимой тьме, в невероятном мире
Ты все же внемлешь мне,

То хоть бы только раз . . .»
Но длилось промедленье,
И все слабей дыша,
От одиночества и от недоуменья
Здесь умерла душа.

Слушай — и в смутных догадках не лги.
Ночь настает, и какая: ни зги!

Надо безропотно встретить ее,
Как ни сжималось бы сердце твое.

Слушай себя, но не слушай людей.
Музыка мира все глуше, бедней.

Космос, полеты, восторги, война, —
Жизнь, говорят, измениться должна.

(Да, это так . . . Но не поняли вы:
«Тише воды, ниже травы»).

Был дом, как пещера. О, дай же мне вспомнить
Одно только имя, очнуться, понять!
Над соснами тучи редели. У дома
Никто на порог нас не вышел встречать.

Мужчины с охоты вернулись. Звенели
И перекликались протяжно рога.
Как лен были волосы над колыбелью,
И ночь надвигалась, темна и долга.

Откуда виденье? О чем этот ветер?
Я в призрачном мире сбиваюсь с пути.
Безмолвие, лес, одиночество, верность . . .
Но слова единственного не найти.

Был дом, как пещера. И слабые, зимние,
Зеленые звезды. И снег, и покой,
Конец, навсегда. Обрывается линия.
Поэзия, жизнь, я прощаюсь с тобой!

Твоих озер, Норвегия, твоих лесов . . .
И оборвалась речь сама собою.
На камне женщина поет без слов,
Над нею небо льдисто — голубое.

О верности, терпении, любви,
О всех оставленных, о всех усталых . . .
(Я здесь, я близко, вспомни, назови!)
Сияет снег на озаренных скалах,

Сияют сосны красные в снегу.
Сон недоснившийся, неясный, о котором
Иначе рассказать я не могу . . .

Твоим лесам, Норвегия, твоим озерам.

Светало. Сиделка вздохнула. Потом
Себя осенила небрежным крестом
И отложила ненужные спицы.
Прошел коридорный с дежурным врачом.
Покойника вынесли из больницы.

А я в это время в карты играл,
Какой-нибудь вздор по привычке читал,
И даже не встал. Ничего не расслышал,
На голос из-зá моря звавший не вышел,
Не зная куда, без оглядки, навек . . .

А вот, еще говорят — «человек»!

Да, да . . . я презираю нервы,
Истерику, упреки, все.
Наш мир — широкий, щедрый, верный,
Как небеса, как бытие.

Я презираю слезы, — слышишь?
Бесчувственный я, так и знай!
Скажи, что хочешь . . . тише, тише . . .
Нет, имени не называй.

Не называй его . . . а впрочем
Все выдохлось за столько лет.
Воспоминанья? Клочья, клочья.
Надежды? Их и вовсе нет.

Не бойся, я сильней другого,
Что хочешь говори . . . да, да!
Но только нет, не это слово
Немыслимое:
никогда.

Ну, вот и кончено теперь. Конец.
Как в мелодраме, грубо и уныло.
А ведь из человеческих сердец
Таких, мне кажется, немного было.

Но что ему мерещилось? О чем
Он вспоминал, поверя сну пустому?
Как на большой дороге, под дождем,
Под леденящим ветром, к дому, к дому

Ну, вот и дома. Узнаешь? Конец.
Все ясно. Остановка, окончанье.
А ведь из человеческих сердец...
И это обманувшее сиянье!

За все, за все спасибо. За войну,
За революцию и за изгнанье.
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь «влачим существованье».

Нет доли сладостней — все потерять.
Нет радостней судьбы — скитальцем стать,
И никогда ты к небу не был ближе,
Чем здесь, устав скучать,
Устав дышать,
Без сил, без денег,
Без любви,
В Париже . . .

Когда мы в Россию вернемся . . . о, Гамлет восточный, когда? —
Пешком, по размытым дорогам, в стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком,
Но только наверное знать бы, что во время мы добредем . . .

Больница. Когда мы в Россию . . . колышется счастье в бреду,
Как будто «Коль славен» играют в каком-то приморском саду,
Как будто сквозь белые стены, в морозной предутренней мгле
Колышатся тонкие свечи в морозном и спящем Кремле.

Когда мы . . . довольно, довольно. Он болен, измучен и наг.
Над нами трехцветным позором полощется нищенский флаг,

И слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и слишком тепло.
Когда мы в Россию вернемся ... но снегом ее замело.

Пора собираться. Светает. Пора бы и двигаться в путь.
Две медных монеты на веки. Скрещенные руки на грудь.

Что там было? Ширь закатов блеклых,
Золоченных шпилей легкий взлет,
Ледяные розаны на стеклах,
Лед на улицах и в душах лед.

Разговоры будто бы в могилах,
Тишина, которой не смутить . . .
Десять лет прошло, и мы не в силах
Этого ни вспомнить, ни забыть.

Тысяча пройдет, не повторится,
Не вернется это никогда.
На земле была одна столица,
Все другое — просто города.

Всю ночь слова перебираю,
Найти ни слова не могу,
В изнеможеньи засыпаю
И вижу реку всю в снегу,
Весь город наш, навек единый,
Край неба бледно-райски-синий,
И на деревьях райский иней . . .

Друзья! Слабеет в сердце свет,
А к Петербургу рифмы нет.

Когда успокоится город
И смолкнет назойливый гам,
Один выхожу я из дому,
В двенадцать часов по ночам.

Под черным, невидимым небом,
По тонкому первому льду,
Не встретив нигде человека,
Не помня дороги, иду.

И вижу широкую реку,
И темную тень на коне,
И то, что забыла Россия,
Тогда вспоминается мне.

Но спит непробудно столица,
Не светит на небе луна.
Не бьют барабаны. Из гроба
Никто не встает. Тишина.

Лишь с воем летя от залива
И будто колебля гранит,
Сухой и порывистый ветер
Мне ноги снежком порошит.

Я не тебя любил, но солнце, свет,
Но треск цикад, но голубое море.
Я то любил, чего и следу нет
В тебе. Я на немыслимом просторе

Любил. Я солнечную благодать
Любил. Что знаешь ты об этом?
Что можешь рассказать
Ветрам, просторам, молниям, кометам?

Да, у меня кружилась голова
От неба, от любви, от этой рощи
Оливковой . . . Ну да, слова.
Ну да, литература . . . Надо проще.

Был сад во тьме, был ветерок с высот,
Две-три звезды, — что ж не простого в этом?
Был голос вдалеке: «Нет, только тот,
Кто знал . . .» — мне одному ответом.

И даже ночь с Чайковским заодно
В своем безмолвии предвечном пела
О том, что все обречено,
О том, что нет ни для чего предела.

«Нет, только тот . . .» Пойми, я не могу
Ясней сказать, последним снам не вторя,
Я отплываю, я на берегу
Иного, не земного моря.

Я не тебя любил. Но если там,
Где все кончается, все возникает,
Ты к новым мукам, новым небесам
Покорно, медленно . . . нет, не бывает . . .

Но если все-таки . . . не будет, ложь . . .
От одного к другому воплощенью
Ты предо мной когда-нибудь пройдешь
Неузнаваемой, ужасной тенью,

Из глубины веков я вскрикну: да!
Чрез миллионы лет, но как сегодня,
Как солнце вечности, о, навсегда,
Всей жизнью и всей смертью — помню!

Наперекор бессмысленным законам,
Наперекор неправедной судьбе
Передаю навек я всем влюбленным
Мое воспоминанье о тебе.

Оно как ветер прошумит над ними,
Оно протянет между ними нить,
И никому неведомое имя
Воскреснет в нем и будет вечно жить.

О, ангел мой, холодную заботу,
Сочувствие без страсти и огня
Как бы по ростовщическому счету
Бессмертием оплачиваю я.

Он милостыни просит у тебя
Он — нищий, он протягивает руку.
Улыбкой, взглядом, молча, не любя
Ответь хоть чем-нибудь на эту муку.

А впрочем в муке и блаженство есть.
Ты не поймешь. Блаженство униженья,
Слов сгоряча, ночей без сна, Бог весть
Чего . . . Блаженство утра и прощенья.

Ни срезанных цветов, ни дыма панихиды.
Не умирают люди от обиды
И не перестают любить.

В окне чуть брезжит день и надо снова жить.

Но если, о мой друг, одной прямой дороги
Весь мир пересекла бы нить,
И должен был бы я, стерев до крови ноги,
Брести века по ледяным камням,
И коченея, где-то там,
Коснуться рук твоих безмолвно и устало,
И все опять забыть, и путь начать сначала,
Ужель ты думаешь, любовь моя,
Что не пошел бы я?

Ночь . . . и к чему говорить о любви?
Кончены розы и соловьи,

Звезды не светят, леса не шумят,
Непоправимое . . . пятьдесят.

С розами, значит, или без роз,
Ночь, — и «о жизни покончен вопрос».

. . . И оттого еще более ночь,
Друг не способный любить и помочь,

Друг моих снов, моего забытья,
Счастье мое, безнадежность моя,

Розовый идол, персидский фазан,
Птица, зарница . . . ну, что же, я пьян,

Друг мой, ну что же, так сходят с ума,
И оттого еще более тьма,

И оттого еще глуше в ночи,
Что от немеркнущей, вечной свечи,

— Если сознание, то в глубине,
Если душа, то на самом дне, —

Луч беспощадный врезается в тьму:
Жить, умирать — все равно одному.

В последний раз . . . Не может быть сомненья,
Это случается в последний раз,
Это награда за долготерпенье,
Которым жизнь испытывала нас.

Запомни же, как над тобой в апреле
Небо светилось всею синевой,
Солнце сияло, как в ушах звенели
Арфы, сирены, соловьи, прибой.

Запомни все: обиды, безучастье,
Ночь напролет, — уйти, увидеть, ждать? —
Чтоб там, где спросят, что такое счастье,
Как в школе руку первому поднять.

Н. Р.

Ночью он плакал. О чем, все равно.
(Многое спутано, затаено).

Ночью он плакал, и тихо над ним
Жизни сгоревшей развеялся дым.

Утром другие приходят слова,
Перебираю, что помню едва.

Ночью он плакал . . . И брезжил в ответ
Слабый, далекий, а все-таки свет.

Один сказал: «Нам этой жизни мало».
Другой сказал: «Недостижима цель».
А женщина привычно и устало,
Не слушая, качала колыбель.

И стертые веревки так скрипели,
Так умолкали, — каждый раз нежней!
Как будто ангелы ей с неба пели
И о любви беседовали с ней.

Но смерть была смертью. А ночь над холмом
Светилась каким-то нездешним огнем,
И разбежавшиеся ученики
Дышать не могли от стыда и тоски.

А после... Прозрачную тень увидал
Один. Будто имя свое услыхал
Другой... И почти уж две тысячи лет
Стоит над землею немеркнущий свет.

Патрон за стойкою глядит привычно, сонно,
Гарсон у столика подводит блюдцам счет.
Настойчиво, назойливо, неугомонно
Одно с другим — огонь и дым — борьбу ведет.

Не для любви любить, не от вина быть пьяным.
Что знает человек, который сам не свой?
Он усмехается над допитым стаканом
Он что-то говорит, качая головой.

За все, что не сбылось. За тридцать лет разлуки,
За вечер у огня, за руки на плече.
Еще, за ангела . . . и те, иные звуки . . .
Летел, полуночью . . . за небо, вообще!

Он проиграл игру, он за нее ответил.
Пора и по домам. Надежды никакой.
— И беспощадно бел, неумолимо светел
День занимается в полоске ледяной.

Под ветками сирени сгнившей,
Не слыша лести и обид,
Всему далекий, все забывший
Он, наконец, спокойно спит.

Пустынно тихое кладбище,
Просторен тихий небосклон,
И воздух с каждым днем все чище,
И с каждым днем все глубже сон.

А ты, заботливой рукою
Сюда принесшая цветы,
Зачем кощунственной мечтою
Себя обманываешь ты?

Осенним вечером, в гостинице, вдвоем,
На грубых простынях привычно засыпая . . .
Мечтатель, где твой мир? Скиталец, где твой дом?
Не поздно ли искать искусственного рая?

Осенний крупный дождь стучится у окна,
Обои движутся под неподвижным взглядом.
Кто эта женщина? Зачем молчит она?
Зачем лежит она с тобою рядом?

Безлунным вечером, Бог знает где, вдвоем,
В удушии духов, над облаками дыма . . .
О том, что мы умрем. О том, что мы живем.
О том, как страшно все. И как непоправимо.

Тянет сыростью от островов,
Треплет ветер флаг на пароходе,
И глаза твои, как две лагуны,
Отражают розовое небо.

Мимолетный друг, ведь все обман,
Бога нет и в мире нет закона,
Если может быть, что навсегда
Ты меня оставишь. Не услышишь
Голоса зовущего. Не вспомнишь
Этот летний вечер . . .

Где ты теперь? За утесами плещет море,
По заливам льдины плывут,
И проходят суда с трехцветным широким флагом.
На шестом этаже, задыхаясь, у телефона
Человек говорит: «Мария, я вас любил».
Пролетают кареты. Автомобили
За ними гудят. Зажигаются фонари.
Продрогшая девочка бьется продать спички.

Где ты теперь? На стотысячезвездном небе
Миллионом лучей белеет Млечный путь,
И далёко, у глухо-гудящих сосен, луною
Озаряемая, века и века,
Угрюмо шумит Ниагара.

Где ты теперь? Иль мой голос уже, быть может,
Без надежд над землей и ответа лететь обречен,
И остались в мире лишь волны,
Дробь звонков, корабли, фонари, нищета, луна,
водопады?

Пора печали, юность — вечный бред.

Лишь растеряв по свету всех друзей,
Едва дыша, без денег и любви,
И больше ни на что уж не надеясь,
Он понял, как прекрасна наша жизнь,
Какое торжество и счастье — жизнь,
За каждый час ее благодарит
И робко умоляет о прощеньи
За прежний ропот дерзкий . . .

Нет, ты не говори: поэзия — мечта,
Где мысль ленивая игрой перевита,

И где пленяет нас и дышит легкий гений
Быстротекущих снов и нежных утешений.

Нет, долго думай ты и долго ты живи,
Плачь, и земную грусть, и отблески любви,

Дни хмурые, утра, тяжелое похмелье —
Все в сердце береги, как медленное зелье,

И может к старости тебе настанет срок
Пять-шесть произнести как бы случайных строк,

Чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный,
Растерянно шептал на казнь приговоренный,

И чтобы музыкой глухой они прошли
По странам и морям тоскующей земли.

Как холодно в поле, как голо,
И как безотрадны очам
Убогие русские села
(Особенно по вечерам).

Изба под березой. Болото.
По черным откосам ручьи.
Невесело жить здесь, но кто-то
Мне точно твердит — поживи!

Недели, и зимы, и годы,
Чтобы выплакать слезы тебе
И выучиться у природы
Ее безразличью к судьбе.

З. Г.

Там, где-нибудь, когда-нибудь,
У склона гор, на берегу реки,
Или за дребезжащею телегой,
Бредя привычно под косым дождем,
Под низким, белым, бесконечным небом,
Иль много позже, много, много дальше,
Не знаю что, не понимаю как,
Но где-нибудь, когда-нибудь, наверно . .

Есть, несомненно, странные слова,
Не измышленья это и не бредни.
Мне делается холодно, едва
Услышу слово я «последний».

Последний час. Какой огромный сад!
Последний вечер. О, какое пламя!
Как тополя зловеще шелестят
Прозрачно-черными ветвями . . .

Ничего не забываю,
Ничего не предаю . . .
Тень несозданных созданий
По наследию храню.

Как иголкой в сердце, снова
Голос вещий услыхать,
С полувзгляда, с полуслова
Друга в недруге узнать,

Будто там, за далью дымной,
Сорок, тридцать, — сколько? — лет
Длится тот же слабый, зимний
Фиолетовый рассвет,

И как прежде, с прежней силой,
В той же звонкой тишине
Возникает призрак милый
На эмалевой стене.

Он говорил: «Я не люблю природы,
Я научу вас не любить ее.
И лес, и море, и отроги скал
Однообразны и унылы. Тот,
Кто в них однажды пристально вглядится,
От книги больше не поднимет глаз.

Один лишь раз, когда-то в сентябре,
Над темною, рябой и бедной речкой,
Над призрачными куполами Пскова,
Увидел мимоходом я закат,
Который мне напомнил отдаленно
Искусство человека...»

Sulmo mihi patria est...

Овидий.

Нам Tristia — давно родное слово.
Начну ж, как тот: я родился в Москве.
Чуть брезжил день последнего, Второго,
В апрельской предрассветной синеве.

Я помнить не могу, но помню, помню
Коронационные колокола.
Вся в белом, шелестящем, — как сегодня! —
Мать улыбаясь в детскую вошла.

Куда, куда? — мы недоумеваем.
Какой-то звон, сиянье, пустота...
Есть меж младенчеством и раем
Почти неизгладимая черта.

Но не о том рассказ...

Из голубого океана,
Которого на свете нет,
Из-за глубокого тумана
Обманчиво-глубокий свет.

Из голубого океана,
Из голубого корабля,
Из голубого обещанья,
Из голубого . . . la-la-la . . .

Голубизна, исчезновенье,
И невозможный смысл вещей,
Которые приносят в пенье
Всю глубь бессмыслицы своей.

Приглядываясь осторожно
К подробностям небытия,
Отстаивая сколько можно
Свое, как говорится, «я»,

Надеясь, недоумевая,
Отбрасывая на ходу
«Проблему зла», «проблему рая»
Или другую ерунду,

Он верит, верит . . . Но не будем
Сбиваться, повышая тон.
Не объяснить словами людям,
В чем и без слов уверен он.

Над ним есть небо голубое,
Та бесконечность, вечность та,
Где с вялой дремой о покое
О жизни смешана мечта.

Ни музыки, ни мысли . . . ничего.
Тебе давно чистописанья мало,
Тебе давно игрой унылой стало,
Что для других — и путь, и торжество.

Но навсегда вплелся в напев твой сонный, —
Ты знаешь сам, — вошел в слова твои,
Бог весть откуда, голос приглушенный
Быть может смерти, может быть любви.

## СОДЕРЖАНИЕ

## КНИГИ Г. В. АДАМОВИЧА

Облака. Стихи. Изд. «Гиперборей», Петроград, 1916.

Чистилище. Стихи. Изд. «Петрополис», Петроград, 1922.

На Западе. Стихи. Изд. «Дом Книги», Париж, 1939.

L'autre patrie. Paris, 1947.

Одиночество и свобода. Литературные очерки. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1955.

Толстой (На правах рукописи). Париж, 1960.

В. Маклаков. Париж, 1963.

О книгах и авторах. Заметки из литературного дневника. Мюнхен—Париж, 1966.

Г. АДАМОВИЧ и М. КАНТОР. «Якорь». Антология зарубежной поэзии. Изд. «Петрополис», 1936.